



UDC 929

А. И. ЗАЙЦЕВ О НАУКЕ И УЧЕНЫХ*

Александр Константинович Гаврилов

СПб ИИ РАН, polivan@bibliotheca-classica.org

Автор настоящего доксографического и психологического очерка был тесно связан с А. И. Зайцевым с 1961–1962 г. до конца жизни (2000) как ученик, ценитель и, со временем, коллега. Задача настоящего материала — привести в более или менее связном перечислении яркие высказывания Зайцева, цель которых была точная и емкая формулировка проверенного на собственной жизни опыта — своего или чужого. Все, что он говорил, имело это свойство, и затрагивало все, что представлялось важным в жизни — именно это было прямо необходимо в обстановке сильно приторможенного самостоятельного мышления в пору сталинщины. В настоящем очерке автор старается привести и обсудить ряд высказываний и обыкновений Зайцева, касающихся прежде всего академической жизни: вопрос о способности отдельных людей к гуманитарному знанию; эпистемологические особенности филологии и истории; когнитивное состояние этих наук в старой Европе, в СССР и в современном мире. Тем более Зайцев высказывался по широкому набору вопросов, касающихся дидактических приемов, педагогических целей и научных достижений.

При разнообразии и разнородности приводимых высказываний выяснилось, что трудность не столько в том, чтобы придать связность такому собранию изречений; серьезнее оказалось то, что надо было позаботиться о том, чтобы апофтегмы были поданы в подходящем свете — иначе была бы очевидна опасность вне контекста понять их неправильно. Наконец, понятно и то, что отдельно взятые суждения и оценки составляют некое целое, и указание на основы и главные пружины подхода дают возможность понять более глубокую связь идей и лежащих в основе сторон действительности. Именно в этом случае перед нами будут *ipsissima verba*, ради чего, в частности, представилось правильным излагать специфический российский опыт на русском языке. Что касается источников знания Зайцева, то они необыкновенно широки, а особенно сильное влияние на него оказывали Платон и Аристотель, немецкая филология лучшего времени в целом, Жюльен Бенда в пору созревания его подхода к долгу ученых и интеллектуалов, и, наконец, старинные традиции католической мысли.

Ключевые слова: ученость, знание, наука, учитель, ученики, мудрость, семинары, доклады, апофтегмы, афоризмы, серьезность, ирония, истина.

Роль Александра Иосифовича Зайцева (1926–2000) в Университете была осознана своевременно, ибо была востребована сразу: наиболее авторитетные наставники в начале 1960-х встали уже в пенсионный возраст. Сам он, хотя лишь по

* В основе статьи — доклад, прочитанный 21 мая 2016 г. на торжественном заседании, посвященном 90-летию А. И. Зайцева.

случаю и недолго возглавлял кафедру, но с годами несомненно стал ведущей научной силой на ней. После 2000 г. энергичная работа по первому приведению в порядок наследия А. И. Зайцева (далее А. И.) была проведена стараниями большой группы его учеников. Собрание его сочинений, отражающее и часть разработанных им курсов, заслуживало особого внимания, ибо имело не только историко-научную ценность, но и прямую — служить основой в преподавании специальных учебных дисциплин. Четвертый том СС А. И. Зайцева, пока оказавшийся последним (план был несколько шире), был издан уже к 2006 г., что совпало с 80-летием со дня рождения А. И. Четырехтомник содержит немало ценных, в частности, подсобных материалов. Вообще, следует признать, что ученики А. И., имена которых появляются во всех томах Собрания его сочинений, показали этим изданием, что серьезно относятся к творчеству учителя, к Университетской традиции и к себе самим.

Обширный архив А. И. как ученого был разительно скоро — при его объеме и трудно обозримой многосложности — приведен в порядок, что было бы невозможно без всемерной помощи О. И. Зайцевой. Чуть позже, опять же при ее участии, была составлена *Хронологическая канва* жизни и научной деятельности А. И. То, что работу делали те, у кого на глазах протекали *труды и дни* ученого, не всегда делало задачу легкой — некоторые, особенно внешние, события нуждаются для датировки в прямых документах. События внутренние, о которых окружающим приходится скорее догадываться — идеи, планы, ход той или иной работы, преобразование замыслов — установить еще труднее; даже сам человек, в котором происходят сложные творческие процессы, то и дело теряет «нить» в напряженном потоке мыслей и устремлений. Помню, как-то А. И. с иронией отметил, что темы, над которыми ученый работает (речь зашла о нем самом) внешнему наблюдателю представляются бессвязными, а на деле **«все они об одном и том же»**.

Любопытно, что довольно рано некоторые коллеги начали писать свои воспоминания об А. И., а другим, в особенности Г. Г. Анпетковой-Шаровой, старому товарищу А. И., захотелось увековечить нечто сиюминутное и гениальное, прямо из его уст. Для автора настоящего материала общение с А. И. было одним из определяющих, хотя я старался получать впечатления от многих старших — то было поколение дедов, с которым у меня легко установилась связь, потому что в семье воспитывал меня дед — человек того же поколения, что и старшие на факультете (отец пропал без вести в 1941 г. добровольцем). А. И. был старше меня на 16 лет, но поскольку на эти годы приходились очень серьезные исторические события и не все равно, встретить войну младенцем или пережить ее в пору становления личности, он относился скорее к очень редкому у моих сверстников поколению отцов. Мое ученичество, а затем наше коллегиальное общение продолжалось 40 лет (1960–2000), а пик моего общения с А. И. приходился именно на 1963–1978 гг., которые и были для меня решающими. Количество его мнений, которые были услышаны, обдуманы, приняты или как-то переработаны, настолько велико, что их трудно уложить в нечто единое несмотря на их яркость. Их интересно было усваивать, интересно передавать друзьям, что я и делал постоянно как студент и аспирант, а потом внушал те же принципы моим первым слушателям как молодой преподаватель.

Правил, идей, мыслей А. И. множество — даже тех, которые удается выхватить из ставшего как будто своим и привычным опыта. С другой стороны, когда я надумал

пересказывать разрозненные сентенции А. И., отражающие различные принципы, стала намечаться пестрая картина, так что в пору было думать о чем-нибудь в стиле *Scriptores Historiae Augustae* или Диогена Лаэртского с его простодушно нанизанными вереницами чьих-нибудь мудрых мыслей. Но тут же пришлось осознать, во-первых, что высказываний вспоминается много, а во-вторых, что они нуждаются в комментарии исторического рода, а еще что значительность их без ситуации не обязательно будет понята так, как следует. Поэтому я ограничил на этот раз памятные мне суждения А. И. (конечно, лишь часть его *placita*) сферой знания и науки, учености и ученых. Ниже я постараюсь припоминать суждения и афоризмы А. И., когда их помню в оригинальной форме, и присовокуплять комментарий к их содержанию. Поскольку мы часто беседовали на обратном пути из БАН между 11 (когда закрывалась библиотека) и 12 часами ночи — А. И. надо было в самое начало Загородного, а мне — к Московскому вокзалу, да и вообще мы часто беседовали в пути, признаюсь, что я нередко помню то самое место в городе, где А. И. произносит ту или иную фразу, или вернее, мысль. Это, между прочим, косвенно доказывает, что слово А. И. бывало для меня (как и для других, со временем — многих) прямым *жизненным событием*. Любопытно: сам он вполне отчетливо понимал, что такое общение со старшим существеннейшим образом важно для младших, и связывал почти каждодневное, сплетенное с событиями жизни общение с *высшей формой* связи учителя и ученика, когда они живут рядом и думают часто сообща. Это незаметно растущее *общее* по определению свести к чему-то вербальному и понять сразу невозможно. Неудивительно, что такой формат отношений имеет школообразующее значение; и жаль, что объем таких влияний суживается по мере того как учеников становится больше, а временной ресурс старшего сокращается.

Заметим, что в этом «цеховом» контексте примечательность основана не только на оригинальности и индивидуальном характере идей, но и просто на том, что личность, в которую вглядывается младший, собирает именно такую, а не другую житейски-афористическую икебану. Для А. И. характерно, что он, будучи в высшей степени оригинальным, не слишком дорожил как раз своей оригинальностью, причем это распространялось (редкость для ученого) даже на сферу сугубо научных положений. Мысль была ему интереснее, чем ее авторство (чаще всего трудно установимое). Ему интересней было составить общую большую картину, придать мыслям связность и полноту, владеть собой при любых обстоятельствах. Оценивая себя (такое случалось редко — когда был особый повод для этого, и особенно в пору, когда его «Культурному перевороту» не давали родиться как книге), он, уверенный в том, что дал верное объяснение «греческому чуду», говорил, что в его случае можно говорить «о **предрасположенности к науке**». У него, кажется, само получалось подобное тому, чего Станиславский требовал от актера: не он царит в научном знании, а научное знание пользуется им как инструментом для познания некоего положения вещей. Он видел в себе лишь рупор науки. Она говорила через него благодаря его готовности ей служить. В этом были его Олимпийские игры и олимпийское же спокойствие.

С А. И. — и это было характерно — говорили обо всем, что угодно. Во-первых, просто нужен бывал совет. Во-вторых, любопытно было увидеть новые доказательства его мудрости. Помню несколько случаев, когда в его осведомленности слышалось некое *tremendum*. Однажды подошел я в БАН к А. И., стоявшему в кулуаре

с несколькими его слушателями разных лет. Когда меня спросили, чем я озабочен, я рассказал, что надлежало что-то вносить или выносить из квартиры, а в это самое время дом начали ремонтировать и поставили леса... «Леса по ГОСТу должны отстоять от двери на ...», и А. И. назвал точное расстояние. Группа собеседников была поражена. Один из стоявших рядом, не выдержал и спросил А. И., откуда он такое знает. «А я прочел когда-то у Пушкина. что мы ленивы и не любопытны, и решил противиться этому». У меня, помнится, было ясное сознание, что меня на такое заведомо не хватит, так что и желания подражать А. И. у меня в этом случае не возникло, но когнитивную ситуацию с притязанием на тотальную осведомленность я почувствовал. Другой эпизод, когда А. И. поразил, приводя ex tempore весьма экзотические сведения, были цитаты из старинного прусского законодательства (Das allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten, знаменитое PrALR, изданное в 1794 г.) — этим он поразил голландского историка из начавших заглядывать к нам в 1980-е годы гесперических ученых: Даниэл ван ден Хенгст таких экскурсов с цитатами на память от «советского ученого» не ожидал. Между тем для А. И. закон *quia закон* был свят; он испытывал постоянную двойственность, видя сдавленное буйство большинства отечественных интеллектуалов и колеблясь между Зевсом и Тифоном в себе самом... Отсюда его пожизненное внимание к «Законам» Платона и дальнейшие его чтения Платона и Аристотеля, его отнюдь неформальное участие в работе народных заседателей еще в СССР. Признаюсь, что в свое время я видел в этом травму после заключения (А. И. был реабилитирован только в 1991 г.); однако теперь я думаю, что важнее для А. И. была система представлений о космическом и государственном порядке. Прав был наш общий знакомый, рано умерший факультетский германист В. Михайлов, который обсуждая со мной мнения и мысли А. И. как-то сказал, что вещи, удивляющие нас в нем, суть следствия необыкновенной *цельности* его натуры.

Гурман знаний хочет иметь сведения, которые — по той или иной причине — для него лакомы. Приходится признать, однако, что такая установка легко переходит в умственную лень, а иной раз — увы, невзначай и легко! — в обскурантизм. А. И. все это знал. Один из его принципов (который я наблюдал на деле, а некоторые слышали в виде правила) гласил поэтому: «**Не надо беречь интеллектуальных усилий**». Я по-прежнему полагаю, что нельзя всего запомнить, как нельзя, пожалуй, все что угодно одинаково хорошо понимать, но я не раз видел, как А. И., когда его — при любых обстоятельствах и в любой обстановке — спросят о каком-нибудь затрудняющем тексте или обстоятельстве, тут же напрягался почти физически подобно штангисту, который принуждает себя брать очередной вес. Введение его «сред» по вечерам, когда к нему мог прийти каждый со своим вопросом, заходя по очереди, было некоторой полумерой, им самим принятой для того, чтобы избежать трудности вдруг сосредоточиться на любом из заданных вопросов. Он ждал; если посетителей не было, он все равно оставался в кафедральном помещении.

На фоне этого положения обсуждалось все что угодно, будь то происхождение и бессмертие души и всяческая антропология с теологией пополам, или то, что касается жизни государств — об этом, в чем нам отказано было участвовать, разговоры были особенно неотступны. Высказывался А. И. обо всем — о людях, о стране, о человеке вообще, об альтруизме у животных, о старых и новых книгах, о текущих обстоятельствах любого рода и проч. Ограничений типа «я не специалист»

или «об этом мне не приходилось или не хочется думать» — А. И. не признавал совершенно. Кому нужно это алиби от подозрения в наличии ума? Поэтому при необходимости выбирать и толковать возьмем здесь то, что он говорил по вопросам историко-филологической науки и научной жизни, когда это не было высказывание по частному научному поводу. Ведь не исчислить, сколько отзывов он написал или произнес, он, считавший своим долгом идти на каждое заседание! Ниже мы будем иметь в виду именно разрозненные обобщающие и, главное, устные *афоризмы* Зайцева на тему учености и знания, какие удалось мне припомнить. При этом из неписаного учения Зайцева, его *аграфы догмата* — приходится опять же выбирать какую-то часть, тем более, что мне показалось не просто полезным, а даже необходимым, давать пояснение о внутренней связи между этими *placita*. И хотя зайцевские афоризмы призваны были объяснять или пояснять, однако сообщая их без контекста и без собственных пояснений, мы породили бы иной раз ложные представления. Это не ново: каждый филолог знает, что комментарии нуждаются в комментариях, и если *перпетуум мобиле* где-нибудь существует, так именно здесь. К тому же нередко в живом общении можно было натолкнуться на парадоксы: иногда в А. И. заметно выступал рационализм того рода, который не боится упрощения и как бы даже банальности, а с другой стороны в нем же наблюдалась склонность к чему-то причудливому — к будто бы разделяемым суевериям, не говоря о гротескно неожиданной форме, которая тоже может сбивать с толку. На это положение вещей можно опять-таки припомнить его постулат о «**противоречиях, присущих живой мысли**». Иначе говоря, противоречия у А. И. разрешались, было бы только умно и занимательно. Иногда (правда, лишь изредка) можно было наблюдать и то, как об одном и том же ученом персонаже давались различные отзывы: помню случай, когда прежний «глубокий ум» некоторое время спустя превратился в «великого путаника».

При неуклонной и неустанной систематической работе у А. И. вырабатывались весьма определенные и связные мнения не только внутри специальности, но и вне ее; не столь же последовательные, это были *системно* значимые мнения. Задавшись целью изложить какую-то их часть, я начинаю осознавать, что это весьма любопытная область интеллектуального опыта ученого: то, о чем ученый обычно не пишет, хотя именно это его питает как мыслителя и писателя. Это формально не систематизированный методологический опыт ученого, некие приемы, хранящиеся в его памяти под именами мыслителей и направлений — то, о чем на лекциях, а тем более в статьях он почти не говорит в частности и подробно. Это своего рода *ученое подсознание*. Такие сгустки мыслей и опыта доказывать строго было бы слишком трудно, избыточно. Зато приятно, чтобы иррациональная подкладка немного согревала скудные ткани разума. Эти подвалы интеллекта в чем-то содержательнее частных научных вопросов.

Зачем вообще надо изучать древность?

Выбора, предполагаемого «спором древних и новых», А. И. решительно не признавал. И уже это было важной чертой его подхода к рассмотрению мировой культуры. Ведь всякий выбор лишает нас чего-то существенного, более того, — необходимого. Если мы понимаем, что одно выступает рельефнее только на фоне другого,

то Древность и Новейшее время (в котором он, несмотря на успехи технической цивилизации, опасался узнавать недвусмысленные признаки упадка) взаимно необходимы. Продолжение этого тандема в будущем ничуть не гарантировано. Признаки этого он обнаруживал даже в науке: **«Может прийти время, когда перестанут понимать то, что написали прежние ученые»** — я до сих пор помню, как стало страшно, когда он вскользь обозначил эту перспективу, а пугать он умел, невзначай и вскользь, с бодрым выражением лица, чтобы это не выглядело как тусклое порождение унылого темперамента.

Зайцев говорил об античности: **«Там еще что-то можно понять»**. Он имел в виду, что современный мир настолько перенасыщен, что действительность запутана почти безнадежно. — Я бы к этому добавил, что современной истории не только слишком много, но она при этом еще и не завершена. Мудрое *respice finem* применимо только к прошлому, а у вглядывающихся в него все время новый исторический опыт и новые мысли. Направляя свой взгляд на древность, мы благодаря глубине и силе вековых традиций антиковедения соединяем древнее с новейшим.

«Самые трудные языки, даже из древних — классические». Так считал А. И., при этом в приемлемой степени ориентируясь в древнееврейском, в санскрите, в анатолийских языках (хеттском особенно). Почему? Казалось бы, естественна некоторая опаска перед восточными языками, с которыми даже при наличии некоторых связей все-таки меньше связан наш язык. Однако А. И., пожалуй, был прав: и количество греческих и латинских текстов, и их изученность, которые вместе позволяют тонкое знание обоих этих языков, ставят перед изучающим весьма разнообразные и высокие требования. Взять хотя бы *частицы*, на которые ссылался А. И. — изобилие в греческих текстах знаков логических отношений, а значит, целой феноменологии мысли и чувства в их тонкостях и оттенках. Остается добавить обстоятельство уже упомянутое: традиция изучения классического мира всею Европой, а там почти всем миром, которые столь многое из древних вычитали, а кое-что умное, пожалуй, в рассмотрение их памятников привнесли от себя. Стоит сравнить библейское «вав» с добрым десятком греческих союзов и союзных выражений, заглянув в известный труд Деннистона, который является триумфом не только греческой, но и английской культуры. Тому, кто прочтет, чем отличаются какие-нибудь καὶ ὑὰρ οὐν и τοῦγαροῦν, все тут же станет ясно. Другое дело, легче ли, читая текст, слышать все эти оттенки и оценки или же угадать все, что следует, из одного и того же союзного слова?

Кстати, чтению классических текстов (вместе с необходимым для их осмысления усилием) А. И. приписывал нравственно-терапевтическое значение. **«Если человек разобрал 300 стихов Гомера или Энеиды, он уже не способен на преступление»**. Это, помнится, А. И. сказал на борту грузовика, когда перевозили вещи Я. М. Боровского из просторной «кельи» Смольного монастыря в квартиру на улице Достоевского, а среди помогавших был кто-то, учивший юристов древним языкам — последние не были в тот момент признаны лишними для выносливых служителей российской Фемиды.

У А.И. после его возвращения в университетскую жизнь скоро установились неукоснительные правила своего участия в научной жизни сперва на факультете, а затем и во всем городе; после перестройки он охотно ездил всюду, куда его звали (например, в Квебек), не говоря о праотческой Литве или, тем более, о заметившей его как наставника Москве. Одним из главных правил стало посещение почти всех заседаний по специальности, каковые он позволял себе пропустить разве что по исключительным обстоятельствам. Этим обыкновением А.И. признавал значительность каждого эпизода научной жизни, а не только таких, которые заранее имели ореол значительности. Также и мнениями он дорожил — не только авторитетов, но всякого, кто чем-либо занимается. В этом соединились его природная любознательность и чувство долга перед самой научной мыслью. Наверное, в этой непреклонной обязательности сказались и семь лет, пропущенные им в связи с заключением в Казани, которые вскормили его голод по нормальной академической и вообще культурной жизни. Это, среди прочего, подталкивало А.И. к универсализму знаний; со временем А.И., прослушав доклад, научился в уравновешенной и обобщенной форме выявить содержание и смысл любого сообщения, а нередко — объяснить выступавшему, в чем, собственно говоря, состоят следствия и польза разобранных им фактов и сделанных наблюдений. Он не только искал смысла, но и давал его. Я наблюдал это не одну сотню раз, иногда на своих собственных докладах и могу засвидетельствовать, что А.И. часто видел предмет обсуждаемой работы точнее и как правило дальше того, кто выступал. А.И. никогда не расхваливал докладчика, не говорил чего-то в духе, который мы впоследствии часто наблюдали, в особенности на другом континенте, вроде: „Thank you *so much* for your splendid / brilliant / marvelous etc. lecture...“, но с неким удовлетворением и в деловом тоне обсуждал содержание услышанного, будто подтверждая старинное французское правило: *les gens savants n'admirent pas, ils approuvent*. При этом в его высказываниях во время дискуссии, иногда восполненных еще и заключительным подведением итога, не было и тени «**остентации**» — того самого поведения, которое он характеризовал этим словом и сдержанно не одобрял (а ведь как трудно этого избежать, когда вдруг что-нибудь знаешь...). Вместе с докладчиком он хотел быть свидетелем и участником научных поисков; к любознательности здесь примешивалось любопытство, к выступлению — приятное сочетание серьезности с вежливостью. Не зря места, где занимаются наукой (университетские аудитории, библиотеки и т. д.), он называл **святилищами**, а действия, предпринимаемые в таком окружении — **священнодействием**. Смолоду А.И. выражал это в кулуарах еще и словами **священнослужитель**, или еще: **священная сила** такого-то (скажем, Якова Марковича Боровского). Потом такое произносилось реже, но все уже знали этот фон и понимали, что он мыслит об этом по существу.

Более того, со временем стало понятно: А.И. интересно, что делает любой, выступая с тем или иным научным сообщением, если в подготовке и установках выступающего есть хоть какое-то **благomyслие**. Он чтит Разум, Логос вообще. Усердный читатель, не говоря о неуклонном чтении в библиотеках, он читал и перед сном и легко засыпал, накрыв лицо книгой — я однажды видел такую сценку в Софии в пору Эпиграфического конгресса. Разумеется, он отлично понимал, что энцикло-

педические знания лучше питать через чтение, когда можно подобрать источник получше, выбрать подходящее (тебе, а не другому) время и возвращаться — когда нужно — к прочитанному. Однако читать — это не то, что наблюдать энергичную фазу занятий любым предметом, когда это делает другой человек. Тут появляется возможность не просто услышать новое, а пережить увлечение, увидеть изобретательность и приемы, ознакомиться с трудностями подхода к материалу. Хорошо, конечно, узнавать то, что мы давно хотим узнать. Но иной раз еще существеннее узнать то, о чем мы даже не догадываемся. Чужой доклад ценен не столько знанием, сколько открывающейся внимательному наблюдателю картиной *общей* научной жизни. И неудивительно, что в самом сердце зайцевской концепции «культурного переворота» в Греции, а вместе и формулы культурных прорывов или взлетов вообще, немалую роль играют формы гражданской солидарности, взаимодействия одаренных людей и умов при единстве места и времени. Надо сказать, что у представителей старшего поколения получалась иная картина: для А. И. Доватура с братьями Круазе, с Э. Ренаном и Г. Буасье высокая европейская культура в целом торжественно завершалась; лишь кое-где оставались отдельные интеллигентные личности, которые способны худо-бедно понимать носителей подлинной, т. е. старой, культуры и пускать в ход их достижения, не надеясь на движение знаний вперед и на свое участие в этом процессе. Житейски это было по-своему здраво, но зайцевская вера в познавательный пыл человечества имела в себе что-то смелое и в этом смысле святое.

Зайцев и другие ученые

Старшие отечественные ученые были еще вполне ощутимы в его пору. К ним он относился с почтением как к носителям *нормальности*. «Он же еще получил образование в нормальных условиях», говорил в таких случаях А. И., имея в виду прежнюю сносную житейскую обстановку, высокообразованных учителей и ученье в раннем возрасте, притом без уродливой и уродующей почти тотальной индоктринации советских времен. Действительно, стирать следы агрессивной идеологии не хватит иной жизни; то же и с прочным усвоением основ историко-филологического знания или азов культурного обихода. Дело было не в подходе в духе *adoratio temporis asti*, даже если иногда А. И. гиперболизовано выражал совершенный восторг перед некоторыми чертами **старорежимности**, вроде дневного рациона мяса в старых казачьих войсках или в употреблении архаических мер и весов.

Когда я рассказал ему, что прослушал — кажется, это было в 1961 г. или 1963 г. — немецкую лекцию о фольклоре когда-то учившегося в Тарту Исидора Левина, А. И. остановился как вкопанный (дело было в коридоре исторического факта) и воскликнул: «Так это ж, наверно, ученик великого Вальтера Андерсона!». Мне это тогда мало что говорило, но познакомившись с Исидором Геймовичем, я мог убедиться, что А. И. как в воду глядел — так оно и было.

Сверстников, тем более примечательных, у него было мало — а жаль. А. И. умел ценить тех немногих, которые сохранились в его последовательно децимированном поколении. У людей, которые воспитывались в ранней советской семье и школе, случались прорехи в образовании и воспитании, но была и сила — понимание часто чудовищной реальности XX в. и способность как-то с нею справ-

ляться. Кроме того, советская средняя школа, в которой работали учителя, воспитанные еще в начале того столетия, являла ряд великолепных достоинств. Это был отсвет старого режима в его лучших чертах, связанных с благороднейшими тенденциями старого русского общества. Между прочим, это можно было наблюдать в солидных школьных библиотеках, которые сохранялись в старых школах. Во время эвакуации Уфимская библиотека дала А. И. возможность проходить большую часть предметов по гимназическим учебникам — это был его собственный выбор, но ведь была еще возможность осуществить его! И тут я должен сообщить одну мысль А. И., которая, казалось бы, очевидна, но доходит не до всех и не всегда: **подлинная цена режимов** проверяется не в тот момент, когда новые силы решительно завладели ситуацией, а **когда в жизни разворачиваются воспитанные новым режимом поколения**. Сколько мы слышали (в том числе и от иностранных наблюдателей) о весьма примечательной советской системе образования! Между тем, вполне очевидно, что в 1920–50-е годы действовала или сильно сказывалась еще старая система, а переменялось положение к концу 60-х, когда учителей и вообще людей, воспитанных в старой России с ее замечательными педагогическими устремлениями и институтами, почти уже не осталось.

Об отечественной интеллигенции. А. И. однажды (мы переходили трамвайные пути на Лиговке у дома Перцова) процитировал какого-то побывавшего в старой России англичанина, который в качестве отличительной черты русского интеллигента называл 'total commitment' — полную самоотдачу. Чувствовалось, что сам он разделял такую предельную установку. Помню и еще одно высказывание А. И., которое должно было бы понравиться нашим «патриотам». По случаю оказался у нас перед глазами портрет кого-то из знаменитых испанских интеллектуалов (не помню, был ли это Менендес Пидаль, Ортега-и-Гассет или Унамуно). Я не удержался от прекраснотушного умиления: «Какие лица у них!». А. И. взглянул искоса на прославленного испанца и с деланным равнодушием бросил: **«А по мне — просто шпана.»** Это безусловно была шутка, основанная на обыгрывании немецкого испанцы-Spanier. Но я со своей провоцирующей хвалой напрасно позабыл, что не зря же А. И. всегда с чувством говорил об **«отечественных интеллигентах»**, имеющих облик А. П. Чехова, К. С. Станиславского, Николая Петровича Лихачева или Питирима Сорокина, которым он заслуженно восхищался еще тогда, когда об этом выходе из зырянских лесов немногие у нас слышали.

О гелертерстве. А. И. постоянно анализировал жизнь, действия и характеры людей, а не только литературу, уверенный, что для понимания литературы это будет не только полезно, но и необходимо. Такова одна из установок, противоречащих сладостной болезни *гелертерства* — понимать научные занятия как увольнительную от всего, что болезненно в человеческой жизни. Когда мы впадаем в гелертерское настроение ученость начинает казаться нам шире и глубже (пошлой!) действительности. Вот эпизод, показывающий насмешливость А. И. к гелертерству.

Однажды он слышал разговор лингвистов о том, что топонимику передельвать — дело житейское, лексику вообще — любо-дорого, а вот *можно ли поменять фонематический состав языка?* Порассуждав, ученые мужи склонились к выводу, что фонемы в отличие от лексем — нет, нельзя. Слушая эту дискуссию, А. И. (как сам признался) посмеялся про себя: **«А это смотря какие средства пустить в ход...»**. Другой рассказ А. И. касался до провозвестника социолингвистики

В. М. Жирмунского, которого А. И. мог однажды наблюдать в магазине писчих принадлежностей. У продавщицы советского канцелярского магазина академик, прибегая к своему знаменитому, с рыдающей интонацией, «романо-жирмунскому» произношению, про бумагу для набросков спрашивал так: «*Есть у Вас брульоны?*» (brouillons). **«Отец социальной диалектологии не понимает — размышлял А. И., что продавщица относится к тому слою и поколению, которые про брульоны не слыживали».**

Научная жизнь. Помню еще молодого А. И., когда он вдруг в присутствии старших коллег объявил, что отныне не пропустит ни одной негодной диссертации по классической филологии. Началось с диссертации, защищавшейся в Институте языкознания. Статистика латинской речи у лингвистики проводилась по надгробным надписям — на это последовало методологическое замечание А. И.: при грамматическом однообразии кратких надписей одного жанра статистические данные нерепрезентативны; лингвистика бессильна без филологии. И. М. Тронский был сильно раздражен и вел себя обидным для А. И. образом, между тем как Жирмунский был осторожнее. Диссертация была защищена. И все-таки А. И., требовавший от себя не только не мстить, но и не бранить своих обидчиков, заметил лестный для И. М. парадокс в его ученой практике: **«Даже безнадежно запутанное Иосиф Моисеевич изложит ясно — иначе не умеет».**

Непокорная истина

Полемики. На лекциях по мифологии А. И. часто касался идей А. Ф. Лосева, О. М. Фрейденберг, новейших структуралистов, которые в эту пору стали выступать заодно с семиотикой; подробно разобрали в семинаре и статью С. С. Аверинцева об Эдипе. Марксистское засилье (А. И. лишь изредка допускал, что у номинальных марксистов случаются **«питекантропские — но свои — мысли»**) грозило перемениться на «инонауку», где вместо идейного железобетона должно было воцариться нечто противопоставленное официальной идеологии, но не продолжающее старую, отодвинутую в сторону научную традицию. Под определяющим влиянием А. И. и учеников Доватура и Боровского развернулась критика слушавшей его молодежи в адрес новых течений; главная цель была сформировать свое мнение, показать его тем, кто выбирает свою дорогу рядом с нами, чтобы заниматься впредь не чуждой нам, а собственной повесткой. А. И. при этом не был зачинщиком событий, скорее ему приходилось сдерживать своих слушателей, которые, как водится, соединяли концепцию, шедшую от учителя, с задором молодости. Задача как самого А. И., так и антиковедческой молодежи, ополчившейся на «новизну», была оградить изучение античности в рамках необъятной *klassische Altertumswissenschaft* от легковесного новаторства; новыми, по нашему мнению, должны быть итоги рассмотрения, а не способы и приемы мысли. Для школы (или некоего ее подобия) такие операции полезны — иначе она не кристаллизуется и не мобилизуется.

Как и наши учителя на обеих университетских кафедрах (Классической филологии и Истории древнего мира), мы понимали, что оздоровление дисциплин, изучающих античность, может прийти только из традиции. Это обстоятельство однажды отчетливо выразил А. И. при обсуждении творчества О. М. Фрейденберг: каково бы оно ни было само по себе, на него просто нет времени у **университет-**

ской науки — q.e.d. Разумеется, ценность в науке может иметь не только то, что твердо доказано, но *преподавать* в Университете следует только то, что имеет многовековой запас прочности. Примечательно, что со временем, с начала 80-х, когда и в Москве появилась академическая молодежь, пожелавшая учиться у А. И., он живо откликнулся, и это не прошло бесследно для ряда тамошних классиков.

Одной из характерных черт обстановки, когда начало отступать идеологическое засилье, стал релятивизм, когда получалось, что любая интерпретация стодится — все толкования хороши и все они не только сосуществуют в научной литературе, но и, некоторым образом, предсуществуют в произведении. Этому обрешему имманентный характер релятивизму противостояла зайцевская принципиальная оценка лучших ученых, о которых он говорил с пиететом: «**Это (был) один из тех, кто еще верит (или: верил) в научную истину**». Речь тут шла не о том, что человек готов в крик возглашать свое мнение, от которого ни за что на свете не способен уже отказаться. Верить в (объективную) истину для А. И. означало скорее обратное: быть готовым *отказываться* и от своего мнения, если взыскательное исследование этого потребует.

Кумиры А. И. были: Платон и Аристотель, А. Шопенгауэр, Ф. Ф. Зелинский, М. Вебер, Жюльен Бенда, А. Тойнби, К. Поппер. В 1960-е годы, если не ранее, А. И. особенно ценил “*Trahison des clercs*” Ж. Бенда (значение культурологической концепции последнего было замечено у нас позже). Это сочинение (как и “*Wissenschaft als Beruf*“ М. Вебера) формировало самое зерно взглядов А. И. на место и роль ученого в обществе, хотя и понятно, что по мере всестороннего углубления в научную жизнь, ответы на затронутые французским интеллектуалом животрепещущие вопросы получали у А. И. собственную окраску. По Ж. Бенда и А. И. Зайцеву, в научной среде речь должна идти не о классах, партиях или идеологиях, а о *служении* каждого, кто объявляет себя причастным к ученому (при)званию, вечным общечеловеческим ценностям, как это делали лучшие умы всех эпох и народов; нравственный долг ученого не подменять этой задачи. Именно отсюда я — увы, лишь несколько десятилетий спустя — постигаю замечание А. И. по поводу отказа одного ученого принять участие в каком-то научном мероприятии: «**А не спросил он: “Зачем мне это нужно?”**». Это замечание, выраженное даже с нажимом, не было мне вполне понятно, хотя в нем сразу почувствовалось что-то тревожное, потому что я по самому себе начал замечать, что вдруг стал иной раз задавать себе вопросы в этом духе. Иначе говоря, А. И. был давно и на практике, и теоретически готов к тому, чтобы оценить новую обстановку: мы получили ряд свобод, зато невзначай усилилось вторжение утилитаризма в сферу ценностей, когда «приходится» (а по существу уже и хочется) не хранить и приумножать вечные ценности, а пускаться во все тяжкие, чтобы добыть себе какие получатся. Эпоха героического сопротивления стала уходить в прошлое и время от времени начало проявляться то, что я с некоторых пор стал называть «когнитивным бизнесом».

Педагогика и дидактика

Единство научных занятий и педагогической деятельности было у А. И. поразительным по масштабу, последовательности и длительности. Это была полнейшая *Einheit der Forschung und Lehre*, по В. Гумбольдту. Часто вспоминая о приведенных

выше словах о роли total commitment у старой русской интеллигенции, упомяну здесь и еще один ориентир, который, может быть, имел место. А. И. будучи и католиком, и педагогом, был, мне кажется, под сильным впечатлением от Игнация Лойолы — личности безусловно выдающейся и обжигающе острой. Дело не в основании одного из примечательнейших орденов, но в том педагогическом направлении, какое основатель ему так основательно придал, и в той не только внешней, но и внутренней дисциплине, к которой он был страстно устремлен. Разумеется, это могло быть и не так — тогда пусть это будет часть того, что формировал в А. И. французский католический консерватизм, который был ему близок несомненно.

Однажды обсуждали вопрос, каково предельное количество учащихся в аудитории для успешного преподавания древних языков. А. И. сказал: **«Готов преподавать древний язык в Актовом зале (на Филфаке он довольно просторный). При одном условии: в одной руке у меня будет бич, в другой — пистолет»**. Однако, поскольку, как и всем другим, ему не давали таких педагогических аксессуаров, приходилось ему, как и всем, прибегать к менее романтической педагогике, когда неизвестно, кому хуже: страдающему за предмет наставнику или жизнерадостному слушателю. И тут он давал младшим педагогам дорогой совет: **«Говорите слова»**, не расходуя себя на самоистязание в педагогическом процессе. Было у него и примечательное умение проговаривать то, что он думал о своем визави при неправильном поведении последнего, в тот самый момент, но в общем виде, так что получалось нечто вроде разговора с совестью младшего.

Разрозненное об учителях и учениках

Про научные школы А. И. говорил, что **«ученики это те, кто повторяет и ошибки учителя»**. Думается, что это положение весьма полезно при вдумчивом выделении и эпистемологической оценке научных школ.

«Воля берет свое» — о деловитости, *ослабляющей* характерный для юности созерцательный интерес к общим вопросам познания, к энциклопедии наук и т. п.: четкие жизненные задачи сужают круг внимания к явлениям мира.

Почему старшие бывают иногда придиричивы к младшим? На мой вопрос А. И. ответил цитатой: **Simia quam similis, turpissima bestia, nobis** (тоже ученый и тоже самостоятельный — как это стерпеть?).

«Простых текстов нет» (говорено около Биржи Томона) — совершенно простая, но для дидактики, как и для герменевтики, важная мысль. — Да, если учитывать разнообразие отношений любого текста к действительности, с одной стороны, и к мысли, ее «фигурам», истокам и предпосылкам — с другой, то это не только просто звучит, но и подытоживает большое научное содержание.

Преподавал он много и до конца не истощился — последние ученики оказались едва ли не самыми профессионально удачными. Он выдержал — и составил школу. Оставил еще и след в Москве. Наконец, принял весомое участие в основании и во внутренней программе возрожденной гимназии (школа №610), которой вполне пристало бы носить его имя. Школа способствует развитию гуманитарного знания в различных областях. И как раз это затевал Зайцев, помогая Л. Я. Лурье и Л. Я. Жмудю составить программу классической гимназии, которая была бы достойна этого имени и противоположна **«обезьяннику»**.

Выше было уже рассказано о ценности выводов, которые, как умел выявить А. И., сами собой следовали из того, что было сказано в прослушанном им докладе. Но примечательно было и другое, что часто радовало в его собственных докладах или лекциях. Дело было в ограничении вывода, т. е. в отказе от части вопросов, которые не являются необходимыми для избранного рассмотрения. Отметив, что ответа на некий попутно возникший вопрос мы пока не знаем, или что доказательств некоего более широкого утверждения он не знает, он вдруг восклицал, ликуюя: **«Но это и не нужно для вопроса, который мы себе поставили»**. Иначе говоря, он предупреждал неискушенного исследователя от наивной радости братья доказывать все, что угодно, радостно взваливая на себя *onus probandi*. (Бельгийский историк Анри Пирон в немецком плену, наблюдая русских военнопленных, заметил как раз *избыточное трудолюбие* русских, за которым верный глаз разглядит более изысканную форму той же лени.) Получается, что А. И. пояснял: нужен не труд сам по себе, а привычка и умение трудиться с толком, чтобы дойти до конца, т. е. до успеха.

Выбор жизненных принципов

Мы говорили, что А. И. больше занимала правота или правильность представлений, чем оригинальность и поиски превосходства. Поэтому он мог легко брать чужие принципы — лишь бы подходили. Иногда это были прописные истины, которым однако трудно следовать. *«Ненавидеть порок, а не человека»*. Сюда же отнесу разительное в жизни прощение тех, кто бывал нехорош с ним. Разделяя скорее этику Феогида, я недоумевал в тех случаях, когда за него же был обижен. Оригинальнее казалось наблюдение: *«Христианство делает хороших лучше, а дурных хуже»* (мне неизвестно происхождение этой любопытной идеи).

Сюда же отнесем любимую поговорку А. И.: *«Лучшее враг хорошего»*. Мудрость известная, но может казаться индульгенцией халтурщика. То, что ей следовал А. И., сразу показывает: это не так. Не враждуя с перфекционизмом, А. И. обращал внимание на то, что оборотной стороной его является малодушное, стремление откладывать, забвение исходной цели и в итоге — торжество небытия. Сюда же относилась у А. И. формула *«Дело рук человеческих»*, т. е. старайся, но помни, что несовершенства неизбежны (ср. «изделие рук человеческих» в 2 Reg., 19, 18, применительно к идолам). Для младших он использовал такое ободрение: *«Не боги горшки обжигают»*, что слышал от него юный тогда Д. Кейер, в котором А. И. не боялся укрепить сомнение в авторитетах. Кстати, хотя я не помню, чтобы он брал какие-нибудь свои слова назад, всегда чувствовалось, что непогрешимым он себя не считает, особенно в том, что для него было всего важнее — в научном рассуждении. Авторитет имел у него не когнитивную, а скорее эвристическую ценность.

Знание будущего

Из того, что греки столь же наивно, сколь и громоздко гадали о будущем, А. И. не вывел суетности самого интереса к такому приложению знания. Рассуждая о **неоднородной эволюции**, он в начале 1970-х пророчил возвращение суеверий. В конце 80-х это стало стремительное происходить; более того, после засилья самого плоского рационализма суеверие вернулось в весьма примитивных формах.

Тут можно говорить о прямом пророчестве А. И., который и вообще считал, что разумное знание приложимо к будущему, хотя оно молчит в аксиологии.

Он не только знал иногда, что́ будет, но мог говорить и о том, чего *не* будет. Не будет, например, Пушкина. **«Сто генералов с саблями наголо должны скакать во весь опор ради того, чтоб был один Пушкин.»** Иначе говоря, без великолепного окружения и роскошного антуража в духе Галереи 1812 г., без иерархии и славы, без чести и благородства, без борьбы многих со многими (но не всех со всеми — это уже, опять по Зайцеву — **«банка пауков»**, которая, возможно, ожидает нас) существование людей вселенски гениального духа немислимо; без отважных не будет и совершенных.

Тройственная формула будущего по Зайцеву: человековедение, человековедение и человеководство. Примечательность тут уже в том, что будущее мыслится не как предмет досужего гадания, но как объект расчета. Футурология хоть и не обязательно научна, но способна такую быть и должна такую стать. А еще то, что в первейшую часть триады входят, как видим, гуманитарные науки и не в последнюю очередь филология в качестве не единственной, но наиболее разработанной области герменевтики, которой, таким образом, уготовано достойнейшее место в человеческой истории. Дело в том, что при восхищении перед достижениями естественных наук восторженного отношения к уровню современного филологического знания у А. И. не могло быть. Однако то, что не наблюдается в настоящем, может еще сложиться в будущем. Он считал, что гуманитарное, в частности, филологическое знание, будет серьезно востребовано впоследствии, а для примера приводил криминалистику. Успехи политологии, сказывающиеся в успешных иногда политтехнологиях, обеспечивают значительное влияние этого знания (будь то в хорошем или дурном смысле). По-моему очевидно, что в руках национальной филологии (любой народности) находится хранение национальных святынь и через это — национальный язык и гуманистическую литературу — воспитание патриотизма, притом настоящего, а не того, который кому-то удобен. Продолжая эту мысль: антропологическая составляющая филологии пока еще не стала очевидной, но легко ожидать, что она проявится.

Отсюда, в частности, само собой следует великое значение (и уж наверное — назначение) гуманитарных наук. Наступление века информации (культурный взрыв на нашей памяти!) и роль процессов управления в постиндустриальном обществе, где процессы управления будто бы станут важнее, чем производство, готовит нас к более изысканным формам **человековедения**. Что касается **человеководства**, то он понимал, что предстоит социальное использование наследственности. Прочтение генома А. И. совершенно не удивило бы — он ждал именно такого рода открытий, не говоря о развитии медицины. Не без ужаса задумывался он о евгенике и о социальных экспериментах, но ему было ясно, что это неминуемо и что *образ человека*, создаваемый словесностью, будет играть роль во всем этом.

Эстетика и стиль афоризмов

А. И. смолоду изредка, но хаживал в музыкальный концерт или на вернисаж. Чувствовал он, конечно, и художественную красоту текстов. Однако обычно он не говорил об этом, хотя определенно чувствовал, испытывая не столько восторг, сколько некое благоговение перед близостью красоты. Об этом же свидетельствует и усердное

чтение новинок художественной — своей или иностранной — литературы. Тут была, как я догадываюсь, вдумываясь в него теперь, скромность, притом скромность подлинная. Хотя всякое искусство онтологически (и платоновски) стояло для него ниже истинного знания, персоналистически он, видно, ставил искусство выше науки, у которой есть по крайней мере какие-то правила, между тем как нельзя вообще предугадать, как быть и что делать художнику. Понимая, что нельзя притязать на все разом, А. И. просто принял, что артистическое это, как бы, не его ума дело.

В его научных трудах преобладает деловитость и авторитетная сдержанность. Его язык *не ищет ничего кроме мысли* — здоровой, твердой, уверенной в своей мощи. Но при столь яркой натуре и уме не обошлось без того, чтобы в сфере учительства и убедительной дидактики наметилась (скорее бессознательно) собственная афористическая дикция. Стиль сложился здесь супер-твердый: краткость, гипербола, гротеск. Зерно высказывания укладывается обычно в десяток слогов с 2–3 тоническими акцентами. Задание было следующее: выражая мрачные мысли, говорить веселые слова, потому что ум по природе есть нечто сильное и радостное, а уныние уместно там, где ум на ущербе. Кроме того, дидактически правильно довести до сознания некое наставительное содержание, не надоедая нотациями. Как ни странно, пускалась в ход при этом и гистрионика: чаще всего это была имитация блаженства с гротескной гиперболизацией его. Помню, к примеру, его восторженно-блаженное стенание при фамилии *Урядникова*: **«Кака-я фа-ми-лия!»**

Уморителен был литературно-монархический сон о явлении некоего великого князя в беспорядочно-шумном собрании людей — это можно даже не воспроизводить здесь: там были собраны все архетипические черты, включая звук волочившейся по полу сабли главного, хоть и немного, персонажа. Далее — немая сцена.

Соединять страхи с некой веселостью, наверное, хорошо, тогда не так страшно. Об этом мы слышали историю от Г. В. Пионтека (другой товарищ и близкий современник А. И.), который не мог не повести Гаяну Галустовну и любознательного товарища на болота близ старинной системы каналов под Петергофом, начатых строительством в 1715 г. Вовремя покинуть замечательные места не успели — пришлось заночевать на болоте. Под утро вдвали раздался странный крик, и Зайцев, стоявший несколько часов прислонившись к дереву, произнес только: **«Он это любит»**.

Обсуждали, кто употребляет просто некоторые идеи о роли структуры, а кто-таки завзятый структуралист. **«А Вы попробуйте пририсовать... хвост. Получится — значит структуралист»**. — «Ну, например, NN? (робко спросил я, назвав очень почтенного ученого, которого, я уверен, уважал и А. И.). Неужели получится?» На это А. И. (опять с сокрушением и опять безнадежно мотая головой): **«Получится!»** (Напоминаю, что речь не о старинных структуралистах, а семиотического извода; и не в традиционных для них областях, а при покушении на сугубо филологическую территорию.)

Помню состязание в остроумных репликах по поводу благочестия с другом *Античного кабинета* богословом Мартином Хенгелем из Тюбингена, посетившим нас в 90-е годы. О православном батюшке, который вез гостя к Зайцевым на своей машине, Хенгель сказал: «Молодец! Но как водитель... *слишком верит в Бога*». Ну а А. И. дал конфессиональный отзыв о нашем протестантском друге: **«Хорош Хенгель, да только — на этом месте А. И. сокрушенно помотал головой и с осуждением вздохнул — в Чёрта не верит»**.

Подведем итог

Мы думали вспомнить какую-то часть зайцевских апофтегм — *Lagidae placita!* — надеясь, что кому-нибудь вспомнится что-нибудь близкое к этому, а то и многое другое. Однако по ходу изложения дело стало представляться несколько иначе. Оказалось, что взятые по отдельности высказывания А. И. нуждаются в освещении, пояснениях, додумывании не только житейского контекста, но и своего системного значения. Осмысление их требует мобилизации знаний о нем, посильного учета его (труднообозримого) горизонта. *ἄγραφα δόγματα* крупного ученого и самобытного мыслителя не только представляют собой нечто уходящее корнями в глубины жизни и личности, но и нечто необходимое для научного творчества — они дают ту почву, на которой последнее произрастает. Это — принципы, основы, предпосылки отношения к своему предмету, о которых ученые отдельно не разговаривают, хотя ищут себе подпорку этого рода и затем исходят из них в существенные моменты своей исследовательской жизни. Что ж! Подводить итоги о Зайцеве можно не спеша.

Для цитирования: Гаврилов А. К. А. И. Зайцев о науке и ученых. *Philologia Classica* 2016, 11, 2, 308–323. DOI: 10.21638/11701/spbu20.2016.210

For citation: Gavrilo A. K. Alexander Zaicev on Classical Scholars and Approaches to Scholarship. Reflection upon His Guide-Lines and Apophtegms from 1960ies–70ies. *Philologia Classica* 2016, 11(2), 308–323. DOI: 10.21638/11701/spbu20.2016.210

ALEXANDER ZAICEV ON CLASSICAL SCHOLARS AND APPROACHES TO SCHOLARSHIP. REFLECTION UPON HIS GUIDE-LINES AND APOPHTEGMS FROM 1960ies–70ies

Alexander K. Gavrilo

As a pupil and subsequently colleague of prof. Alexander I. Zaicev (1926–2000) the author endeavours to cite certain apophtegms on classical scholarship and/or approaches to antiquity formulated or hinted at by that outstanding scholar and teacher at the University of St. Petersburg on one occasion or another between 1960 and 2000. While still academically young, A. I. Zaicev had already had a gruelling experience of a person incarcerated in the Kazan psychiatric special institution (read jail) for political confinement in the course of the Stalinist repressions from 1947/48. After his liberation in 1954 Zaicev was able to return to Leningrad, finish his studies and continue them as a post-graduate. As an assistant at the Classical department of the Philological Faculty he made his way both in scholarship (PhD at Philological faculty in 1969 and Doctorship in historical studies at the Historical Faculty in 1987) and teaching. His strong opinions were remarkable indeed as part of both lived-through experience and cognitive adventure of his much-enduring generation. As Zaicev's teaching resulted meanwhile in a sort of school following a few of his interests and / or principles it seems not void of sense to recollect and to think about his *agrapha dogmata* — not by chance one of his aphorisms said that “among other things, pupils inherit their teacher's mistakes”. Of course some distortions are liable to happen in the situation when the spoken words were not written down, but the present author aspires to retain the *ipsissima verba*, as well as their smart, apodictic turn, sometimes ornamented with grotesque or touched with a stroke of humour. This circumstance was not the only but the major cause for preserving the original language here. On the other hand, these sayings turned out to need a commentary — otherwise the original meaning of some of them might well be misunderstood now. On the whole they seem to preserve the atmosphere Zaicev's personality created — extremely active both as teacher and scholar, nourished by the reading of Plato and Aristotle, formed by the ideas of the (ir)responsibility of modern intellectuals (strong impact of Julien Benda's thought) and deeply influenced by his Catholicism. Both his character and thought were steered by early imprisonment and further political pressure and — last not least — by everyday hard work at this University until his last days. His maxims on scholarship and scholars form a unique whole and are well understandable when regarded in the context of his tasks, reading and ideas.

Keywords: scholarship knowledge teacher pupils conferences reports seminar experience practical wisdom l'art de vivre apophtegms aphorisms hyperbole irony intellectuals truth.

Received: 01.10.2016

Final version received: 05.11.2016